

чает он, даже в этом романе Толстого относительна. Тем более, это касается романа "Война и мир". Анализируя эпилог "Войны и мира", Шестов пишет: «Здоровый инстинкт должен подсказать истинный путь человеку. Кто, соблазнившись учением о долге и добродетели, проглядит жизнь, не отстоит вовремя своих прав, тот "пустоцвет". Таков вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был у него в эпоху создания "Войны и мира". В этом произведении, в котором автор подводит итог своей 40-летней жизни, добродетель *an sich*, чистое служение долгу, покорность судьбе, неумение постоять за себя – прямо вменяются человеку в вину»⁴.

Приведенные рассуждения Шестова очень важны для прояснения его позиции. Эпилог "Войны и мира", если согласиться с Шестовым, доказывает, что жизнь в соответствии с моральным законом не может быть настоящей жизнью. Мораль не органична человеческой сути. Настоящий человек лишь надевает маску добродетели, в отличие от сострадательных "выродков", вроде Сонечки Мармеладовой у Достоевского.

Если в одной из своих первых работ "Шекспир и его критик Брандес" Шестов доказывает, что "по ту сторону добра и зла" человек *оказывается* в результате невероятных страданий, то в работе о Толстом он пишет о том, что вне морали люди *находятся изначально* в силу своего здорового инстинкта. Впоследствии Шестов уделит множество страниц объяснению того, как страдания Ницше спровоцировали его отказ от морали и мира культуры в целом. И, несмотря на это, образ человека у Шестова двоятся. Здоровый аморализм и эгоизм то присущи человеку изначально, то являются результатом его невероятных страданий. Аналогичная двойственность присутствует в понимании Шестовым сути человеческого существования, которое то с самого начала болезненно трагично, то в нем, наоборот, изначально царствует здоровая стихия жизни. И надо сказать, что анализ творчества Достоевского не уменьшает, а усиливает эту двойственность позиции Льва Шестова.

Противоречивость в воззрениях Шестова нарастает, когда он переходит к феномену "подпольного человека", который из опыта "униженного и оскорбленного" сделал самые крайние выводы. Шестов отмечает, что, осознав ложь жизни в соответствии с идеалами "высокого" и "прекрасного", этот человек пришел в ужас и нашел силы порвать с собственным прошлым. И Шестов, вслед за Достоевским, предлагает нам выслушать этого уединенного человека. "Нужно выслушать человека таким, каков он есть, – пишет он. – Отпустим ему заранее все его грехи – пусть лишь говорит правду. Может быть – кто знает? – может быть, в этой правде, столь отвратительной на первый взгляд, есть нечто много лучшее, чем прелесть самой пышной лжи?"⁵

Правда, которую сообщает нам о себе "подпольный человек", на самом деле отвратительна. Это исповедь мизантропа, и даже более того. Обращаясь к Лизе, он произносит фразу, которая теперь широко известна: "я скажу, чтоб свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить". И это означает эгоцентризм, дальше которого уже идти просто некуда. Ведь "подпольный человек" противопоставляет себя не только культуре, но и природе. "Законы природы", по замечанию "подпольного человека", постоянно и больше всего обижали его, а потому он отрекается от мира, от всего мироздания. Но важно понять, что при этом остается на стороне индивида.

Эгоцентризм доводит мысль о человеке как мере всех вещей до ее логического предела. Человеческое Я здесь *мера самого себя*, и никто, и ничто ему в этом не указ. Характерно, что такая позиция получает многообразные обоснования именно в XIX в. Российский историк культуры Л.М. Баткин в своей книге о становлении творческой индивидуальности в эпоху Возрождения отмечает, что именно в XIX в. жизнь и смерть человека начинают потрясать не своей повторяемостью, а уникальностью. Но у осознания неповторимости человеческого Я есть свои грани. И поначалу, замечает Баткин, единственность и неповторимость Я позволительна лишь "гению" или "демону", что демонстрирует вся романтическая поэзия, и лермонтовский "Демон", в частности; но проходит время, и, достигая зенита, идея уникальности личности обнаруживает другую сторону. "А, может быть, *любое Я* – вселенная?" – повторяет Баткин писателя